

Наталья Иванова

РУССКИЙ КРЕСТ:

**ЛИТЕРАТУРА И ЧИТАТЕЛЬ В НАЧАЛЕ
НОВОГО ВЕКА**

Серия «Диалог»

Наталья Иванова – один из самых известных литературных критиков современной России. Постоянно печатает эссе о литературе в журналах России и Европы, ведет именную колонку на Интернет-портале «OpenSpace». Автор множества статей и десяти книг о современной русской прозе, а также монографий и телефильмов, посвященных Борису Пастернаку. Руководитель проектов «Премии Ивана Петровича Белкина» и «Русское чтение». Новую книгу Натальи Ивановой составили ее статьи, эссе и заметки о литературе и литературной жизни последних лет.

ОТ АВТОРА

Литература умерла, роман умер, умерли толстые журналы... А на самом деле умер читатель (его наконец уговорили, что читать – нечего), – и за гробом его скорбно идут сотни тысяч русских писателей.

Зато растет территория писателя. Русский писатель плодится быстро и живет во всем подлунном мире. Чуть ли не ежедневно встречается с такими же, как он, устраивая чтения, фестивали и конгрессы, симпозиумы и семинары, круглые столы и дискуссии.

Если наложить друг на друга две линии – нисходящую (читателей) и восходящую (количество писателей), то получится – в параллель с демографическим – весьма драматичный литературный крест.

Но, может быть, мой взгляд слишком пессимистичен? Ведь есть и позитивные симптомы. Это прежде всего заинтересованность финансово независимых, весьма обеспеченных изданий в независимых, от публики в том числе, писателях. Не столько ради славы, сколько ради репутации.

У России два богатства: нефть/газ и русская литература. Причем если первый – исчерпаем, то второй – вечен. В мире всегда будут издавать, переводить, переиздавать, в десятый раз переводить – Толстого и Достоевского. И ставить Чехова.

Над судьбой русской литературы и судьбами русских писателей в конце 80-х задумались англичане. В 2011 году будет отмечаться двадцатилетие премии «Букер» на русской почве.

Проблема обнаружилась сразу и немедленно: премией стали награждать, но премируемые книги все равно продавались из рук вон плохо.

Недавно ситуация стала вроде бы меняться. Возникла тенденция: несмотря на затраты и некупаемость, открывать новое современное искусство, поддерживать сложную музыку, читать настоящую прозу.

Сноб не может читать Донцову, ходить на Петросяна и украшать дом Никасом Софроновым.

Так появилась премия «Большая книга». Дорогая, затратная премия – но и настроения устроителей,

«авторов идей» амбициозные.

Может быть, настоящей литературе повезло?

Но от количества затраченных денег литература впрямую не зависит, нет такой закономерности.

Необходимость каждый год каждому жюри каждой премии в обязательном порядке выбирать финалистов, а из них – лауреата (тучный год – или тощий, роли не играет) привела к искусственным родам финалистов и лауреатов.

Литературное время движется не от события к событию (что было бы правильно и естественно), а от сезона к сезону. И еще: букеровская гонка породила растущий от года к году «пузырь» романов, изготавливаемых к премиальному сезону. Так обстоит дело и с «Большой книгой» – ради больших ее денег сегодня пишутся и издаются необычайно толстые книги.

Явно страдают ожирением или водянкой книги, уже получившие эту премию, и книги, вышедшие в финал этого года. Следовало бы посадить на диету и роман Александра Терехова «Каменный мост» (вторая премия «Большой книги», 2009), и «Перс» Александра Иличевского (2010). Ожирение, кстати, возникает у романов, не прошедших курс толстожурнального похудения.

Итак, русская литература стала всемирной и занимает территорию гораздо больше России. Напечататься – а хоть бы в Интернете, или книжечку выпустить – может каждый. Не старые времена, чтобы редактор – или, не к ночи будь помянут, цензор – останавливал.

И тем не менее – благодаря несовершенному, но все-таки фильтру-отбору, постоянно производимому издателями амбициозных некоммерческих издательств, редакторами амбициозных, тоже весьма и весьма некоммерческих, журналов, высокомерных интернет-порталов, премиальными экспертами и членами жюри – остается несколько десятков, может быть, сотня книг, на которые появляются – хотя бы! – профессиональные рецензии. Книгоиздательский бизнес доходен, за рынок идет борьба, литературных журналистов покупают, – отношения в литературном мире коррумпированы. Захлебывающаяся от восторга аннотация вытеснила трезвую оценку.

Критики тоже могут имитировать оргазм.

У нас замечательная поэзия – Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров (оба – еще и прозаики), Михаил Айзенберг, Инна Лиснянская, Олег Чухонцев, Мария Степанова, Елена Фанайлова, Борис Херсонский. До дюжины – перечислять легко и приятно.

В прозе борются две тенденции – социальная (по преимуществу) и эстетическая (тоже по преимуществу).

Бои «реалистов» с постмодернистами закончились – начались бои «реалистов» с эстетам.

«Реалисты» сегодня – писатели с обостренным чувством социального. С ярко выраженным публицистическим темпераментом. С открытым политическим равнодушием – иногда специально (и даже истерически) возгоняемым. Это наследники советской, соцреалистической поэтики, усвоившие свою литературную азбуку не через Андрея Платонова, Леонида Добычина или Даниила Хармса, а через, скажем, хитроумного Леонида Леонова – совсем не случайно Захар Прилепин написал именно его биографию.

Приоритеты обозначены через тематику: вымирающее, деградирующее население (Роман Сенчин, «Елтышевы»), распад страны (Денис Гуцко, «Русскоговорящий»), война в Чечне (Захар Прилепин, «Санька»), немотивированное насилие (Александр Селин), имитация общественных институтов (Сергей Шаргунов), постсоветская драма советского человека (Эргали Гер, «Кома»). Среди озабоченных есть и реанимирующие соцреалистическую идеологию в ее агрессивном виде, – например, Михаил Елизаров, получивший премию «Русский Букер» по недоразумению (жюри, как бы потом оно ни мотивировало свое решение в частных разговорах, проявило странную подкорковую тягу к советскому), что скомпрометировало премию в глазах и так растерянного читателя. Маскарадные спецэффекты в костюме новоявленного лауреата (черная рубашка, подтяжки, высокие шнурованные ботинки) подчеркивали его инородность среди мягкотелых писателей.

Но никакой маскарад не обеспечит повышенного внимания так, как появление на телевизионном экране. Дмитрий Быков с его озабоченностью настоящим/

будущим России именно через медиа, газеты и особенно телевизор, а не через укрупненную метафорику своих романов, стал так заметен – и любезен сердцу публики, которая из общества читателей, по точному определению социолога Бориса Дубина, превратилась в общество зрителей. Думаю, что амбиции у Дмитрия Львовича выше, – но его телепортрет влиятельнее.

Накануне Пермского экономического форума, посвященного теме «Экономика и культура», по приглашению Пермского Открытого университета я выступала с публичными лекциями – в Центральной библиотеке Перми (именно в том зале, где Юрий Андреевич Живаго после долгой разлуки, вызванной перипетиями гражданской войны, увидел, как ему казалось, навсегда потерянную Лару), в Пермском Государственном педагогическом университете и в Дягилевской гимназии. И по вопросам аудитории мне все-таки показалось, что нет, не все перешли в разряд зрителей.

Потому что вопросов поступило много – и вполне квалифицированных – о книгах. Из вопросов ясно, что хочется настоящего, неподдельного, неимитационного. А где его взять? Тема моей первой лекции так и называлась: «Новая русская литература и где ее искать». Ну если в книжных магазинах, то у пермяков есть «Пиотровский», книжный магазин рассчитанный на умных, – там продаются книги и двух-, и трехлетней давности, – и не считаются новыми выпусками только потому, что они – новые, как в книжных универсамах, которые считают, что срок годности книги подобен сроку годности колбасы. В Москве есть «Фаланстер» – но он такой один на двенадцатимиллионный город.

Я говорила о «поиске» не столько в бытовом, сколько в интеллектуальном смысле.

Новую русскую литературу следует искать, перебирая в уме рекомендации критиков и литературных журналистов с большой осторожностью – повторяю, коррупция давно проникла и в наши ряды.

Да и без коррупции – рекомендации (и рекомендованные) лопаются наподобие мыльных пузырей. Ну кто по вольной воле сегодня возьмется перечислить большинство романов, получивших этого самого Букера? Или скажут – читайте (вообще)

Маканина, а он выдаст тошнотворный «Испуг»; скажут – читайте Битова, а он представит перетасованный б/у роман; скажут – читайте Иличевского, а ведь не продерется читатель через первые пятьдесят страниц «Перса» и помянет критика недобрым словом.

Поэтому-то сегодня так популярен жанр литературной биографии – что у писателей, что у читателей. Писатели пишут о крупных писателях (А. Варламов после книг об Александре Грине, Алексее Толстом, Михаиле Булгакове выпускает книгу об Андрее Платонове), потому что это беспроектный вариант на сюжет жизни действительно выдающегося героя. Взятото в литературные – ставка безошибочная. И читатель не ошибется, купив очередную биографию, – все-таки полезная информация, а не пустая выдумка.

Нон-фикшн побеждает? Отчасти да: и литературные путешествия (Андрей Балдин, Василий Голованов), и книги о судьбах городов (Рустам Рахматулин) должны вызывать и вызывают интерес. На этом фоне ощутимо проигрывает фантастика, сбившаяся на повторы, исчерпавшая свои приемы – и читательский интерес здесь явно пошел на спад.

Гораздо важнее стало другое, совсем новое: вплетение фантастического элемента (или мотива) в совсем не фантастический ряд. Фантастический сдвиг в реальной литературе – устойчиво развивающийся тренд, и его разрабатывают и те, кто на новенького (Мариам Петросян), и те, кто давно пришел в литературу (Сергей Носов), и «посторонние» (Максим Кантор). Те, кто оставляет общую дорожку, чтобы пробить стеклянный потолок. Фантастическое допущение рождает *ultra fiction* – в ответ на прагматический *non-fiction*. И, наконец, последнее.

Каждый охотник должен знать, где сидит фазан.

Каждый писатель должен знать, где сидит читатель.

Но и каждому читателю хорошо бы показать, где ждет его книга, – в московском «Фаланстере» или пермском «Пиотровском».

Гоголь в одной из своих статей иронизировал: мол, книжечка эта вышла, – значит, где-то сидит и читатель ее.

Надеюсь, что и выдающийся по всем меркам, уникальный книгопродавец – тоже.

I. СИЛОВЫЕ ЛИНИИ

ПИСАТЕЛЬ И ПОЛИТИКА

Из дыр эпохи роковой
В иной тупик
непроходимый.

Борис Пастернак.
«М<арине> Ц<ветаевой>»

1

Отношения литературы с политикой двусмысленны.

Много ли было актуальности – или хотя бы политических акцентов – в книгах, которые вызвали государственный гнев на их создателей? Есть ли *злоба дня* в стихах Ахматовой? *Политика* – в рассказах и повестях Зощенко? Их там нет и вовсе. Тем не менее – оба получили унижений и запретов по полной (хорошо, не высшей) мере. Много ли *политики* в стихах Мандельштама? Вызов в антисталинской эпиграмме прозвучал, это правда. Но стихи Мандельштама в высшей степени далеки от того, что определяется как актуальность.

Какое, милые, сегодня тысячелетье на дворе? Третье, милый Борис Леонидович, уже третье. Так далеко вы не загадывали. «Политика» – не в стихах и даже не в романе «Доктор Живаго», а в ситуации вокруг. «Политика» – не в «Театральном романе», не в «Мастере и Маргарите». И тем не менее – политическое вмешательство (причем наивысшее) потребовалось для решения вопроса – нет, не о публикации, об этом даже речь не могла пойти, – о том, что Пастернак обозначил главным в знаменитом телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе, как нынче говорят, вождя: вопроса *о жизни и смерти*.

Рекомендованный к употреблению соцреализм выписывал рецепт не только в виде производственного романа. Политический роман был особым жанром для «больших» секретарей «большого» Союза писателей: монструозные конструкции Александра Чаковского здесь служили не примером даже, а эталоном. Секретари были политически *обязанными* – писать, говорить, выступать о политике: как сверху сказано, велено, продиктовано. Лишь особые писатели были

допущены к политической проблематике. Они были встроены как агенты влияния в советскую политику – не только внутреннюю, но и внешнюю. Константин Симонов был отправлен с деликатными политическими поручениями в послевоенную Францию, Японию; оттуда его спешно по приказу Сталина перебросили в Америку. Но были и добровольцы, *волонтеры*, остроумно (и политически верно) решившие: если по своей воле, и даже не зажмурившись, а выражая восторг, написать *правильный* советский политический роман, то тебя заметят, и путь вверх обеспечен. Пример – Александр Проханов, имперский, как ему нравится о себе думать, продукт советской политической конъюнктуры, дождавшийся ее реанимации в наши дни, вроде бы в новых условиях.

Скажут: а как же Солженицын? Его пример, его сочинения?

Смерть Александра Солженицына актуализировала в общественном сознании его роль. И начал, и действовал, и завершил свой путь Солженицын как политическая, а не только литературная, фигура – от первых замыслов («Люби революцию!») до последних книг («Двести лет вместе»).

Вот уж был поистине политический писатель – причем в разных средах политический темперамент ему не изменял: СССР, США, Россия. Голосом, порою дрожащим от гнева, он наставлял народы, ставил обществам диагноз, а государства и правителей предупреждал прогнозами. Вот она – живая политика, актуальность, злоба дня, концентрированная в политическом напоре и ярости.

Кто из писателей сегодня может претендовать если не на *политическую* дискуссию, то хотя бы на горячий отклик *общества*? Эстрадники вроде Задорнова, проповедника невежества и ксенофобии? Переквалифицировавшегося в философы М. Веллера? Попробуем зайти с другой стороны: а что, сегодня мало событий и ситуаций, взывающих к слову писателя? Вопрос риторический.

Обыкновенное писательское сознание так же управляемо, так же зомбируется и программируется, как и обыкновенное читательское. Не будем себя обманывать: люди «поперечные» и среди писателей единичны. Тем более что сегодня *писателем* важно

объявляет себя любой, выпустивший книгу. Такое самозванное время.

Кстати, чем дальше, тем больше Солженицын склонялся к прямому политическому высказыванию, раздражавшему и раздражающему: рекомендации и встречи Солженицына повергали порой в политический шок.

А его более молодые – и совсем молодые – современники пошли в противоположную сторону, парадоксально взяли ролевой моделью и стали эксплуатировать образ писателя аполитичного, творца от Бога.

Злоба дня отдельно – поэт (и прозаик, который «про заек») отдельно.

2

Возьмем такой распространенный ныне способ литературной самопрезентации, как поэтический фестиваль.

О чем только не читают там стихи – правда, предназначенные не столько сообществу читателей, сколько своему поэтическому (же) сообществу. То есть кружку милых, любезных друг другу людей. (Избегаю изо всех своих сил слова *тусовка*.) О чем угодно говорят в «Булгаковском доме», в салоне «Классики XXI века», в «Клубе О. Г. И.», в «Билингве», – только не о том, что *горит*. «И внуки скажут, как про торф: горит такого-то эпоха» (Борис Пастернак, «М<арине> Ц<ветаевой>»). Не сейчас это сказано (про торф и про эпоху), давным-давно, до начала современной нашей истории, в конце 1920-х.

Может быть, они действительно думают о себе как о продолжателях литературного дела, не привязанного к быстрому, публицистическому реагированию? Наши небожители. «Не трогайте этого небожителя» – Сталин о Пастернаке. А может, и так: «Не трогайте этого юродивого». В общем, происходит самопрезентация в образе небожителя или – в крайнем случае – юродивого. (Хотя ведь – не пастернаки.)

3

В антологии (групповом автопортрете) «10/30. Стихи

тридцатилетних» представлены стихи, отобранные вместе с Глебом Шульпяковым, составителем сборника, «действующими лицами» (за исключением Бориса Рыжего, что понятно), поэтому я и употребляю слово «автопортрет». Любопытная вещь: в кратком предисловии, говоря о «нескольких совпадениях» в «обстоятельствах времени и места», определивших «общий знаменатель» сближения, Глеб Шульпяков перечисляет: 1) советское детство, 2) «культурный балаган» начала 90-х, 3) зрелость, подступающую в эпоху масскульта, т. е. общественно обусловленные причины. Но переходя к собственно стихам, упоминает главное: «поэзия – это абсолютно открытая система, способная существовать только при тотальной диктатуре художественного слова». Вот оно, существенное, – и никакой «злости дня», никакой общественной озабоченности. По отношению к политике – негативная солидарность. «Бог, дай хоть строчку. Я лица не оторву от бумаги. Нет, это не буквы, а сплошные коряги. У меня история есть без конца и начала – Я ее любил, а она меня не замечала» (Дм. Тонконогов). Манифестируемый Максимом Амелиным архаизм языка – стратегия его поэтического выбора. Ориентация на восемнадцатое – даже – столетие. «Ибо лучше проспать, суетой брезгуя, беспробудно, недвижно свой век краткий, чем шагами во тьме заблуждать мелкими по ребристой поверхности на ощупь». Наиболее сильная эмоция – ностальгия: «Давным-давно, в те времена, когда в крови бежала кровь, а не вода» (Г. Шульпяков). «Я быть собою больше не могу: отдай мне этот воробьиный рай, трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай (а если не отдашь – то украду)» (Дм. Воденников). *Гражданскую ответственность* тридцатилетние поэты оставляют шестидесятникам, которые с этой *озабоченностью* выглядят сегодня старомодно, если не комически.

Но вот, переводя стрелку к более «старшеньким», обнаруживаешь Елену Фанайлову, чья эмоциональность питается совсем не ностальгическими компонентами и чей гражданский темперамент неоспорим. Не говоря уж о якобы «небожительской» лирике Сергея Гандлевского. Да, «сонета шестьдесят шестого не перекричать», но надо только услышать то, что сказано сегодня, не отказ, не уход, а горечь и отчаянье – от

невозможности «криком» что-то реально изменить. Преодолеть непреодолимое.

Убивает ли «злоба дня» поэзию и прозу или придает им (употребленная дозированно, а то и спрятанная глубоко в тексте или в подтексте) особое качество? Пикантность – это если время на дворе свободное, веселое, способствующее независимости суждений и обсуждений. А если наоборот? После 8 августа, например? Если – наоборот, то наступает время, когда каждый делает свой отдельный выбор – как очевидно происходит и в поэзии, и в прозе.

Тем не менее политические писатели у нас есть. Новый тип политического писателя представлен «публичным интеллектуалом» Александром Архангельским в книге «1962. Послание к Тимофею»: частное как общественное, политика – как личный опыт. Надувная проза Проханова для критического взгляда малоинтересна (сколь ни пытаются малочувствительные к прохановской истребительной идеологии критики представить его как особую художественную величину; сколь ни распространяет Вл. Бондаренко якобы услышанную им от Солженицына по телефону одобрительную характеристику Проханова как «выдающегося метафориста»). Приемы и методы романов Проханова остаются неизменными еще с советских лет, и тогда же они были четко квалифицированы литературной критикой, несмотря на его, Проханова, особое положение политического, повторяю, ангажированного властью писателя. Исполнявшего заказ той государственной силы, что направляла его в так называемые «горячие точки» – Афганистан, Никарагуа и т. д. И в так называемую «перестройку», и в правление Ельцина Проханов оставался в «оппозиции». Он, правда, попал со своей «оппозиционностью» в необычайно свободное время, и либералы отметились в борьбе за его права как редактора и журналиста. Положение упрочилось, как только Проханов почувствовал запах крови – первой чеченской войны. С этого момента и начался новый/старый этап в жизни страны – возвращение, ползучая реставрация, наглядная сегодня, а тогда – тогда только по определенным, мало кому видимым признакам можно было предсказать, куда дело двинется. И тут дар политического писателя сработал.

Запах крови – вот что обозначило определенный поворот в литературе, обладающей политическим обонянием. Переждав и перетерпев время для него исключительно неприятное, сегодня патриот, государственный и державник Проханов соответствует государственным идеологическим потребностям. Он – медийное лицо, он востребован сразу всеми федеральными каналами телевидения, он *нужен* власти.

Другой тип политического писателя – Эдуард Лимонов, которому стало тесно в рамках только писательства, участия в военных акциях или редакторства «Лимонки». Он взялся за организацию политической партии. Ангажировал в НБП совсем юных и зеленых, собирал их, учил и наставлял; где Проханов действовал провокаторским словом, лимоновцы уже собирали оружие. Численность запрещенной НБП меньше всего волнует самого Лимонова – он выстраивает свою биографию художественно, и, конечно же, он тоже, хотя и по-своему, не так, как Проханов, замещает собой опасную вакансию подлинной оппозиции.

Третий тип политического писателя – в отличие от первых двух – рожден войной, войной настоящей: «в крови, в страданиях, в смерти».

Это писатели, разбуженные военными конфликтами на Северном Кавказе, шире и свободнее своих старших «коллег», менее ангажированы политическими платформами, манифестами и даже тенденциями. Денис Гуцко, Аркадий Бабченко, Захар Прилепин, Герман Садулаев... Захар Прилепин причудливо совмещает в себе привязанность к НБП и понятный цинизм прошедшего Чечню «пушечного мяса».

Опубликовав роман («Санья») и сборник рассказов, закамouflированный под роман («Грех»), Захар Прилепин стал одним из фаворитов журналистских интервью и опросов. И вошел в финальные списки литературных премий. Он – в «сюжете», не только в политическом, а в литературном, хотя сам *уровень* его сочинений, собственно говоря, немногим лучше, чем у журналиста больше чем писателя Бабченко. Но ведь – горячо! Этот же пирожок остывшим вряд ли кто есть будет (как сейчас невозможно себе представить добровольного читателя никарагуанской, африканской

или афганской прозы Проханова – за исключением Льва Данилкина, автора романтической прохановской биографии, у которого, как он сам признал, почему-то с гордостью, идеологический иммунитет отсутствует. Теперь еще к Данилкину прибавился Сергей Беляков – см. «Новый мир», 2008, № 9).

Совсем иначе «устроен» литературный темперамент Дениса Гуцко, автора обстоятельных и продуманных выступлений, в том числе – публицистических. Гуцко заметила критика с его «абхазской» подачи, а получивший Букера роман «Русскоговорящий», изданный «Вагриусом» после журнального варианта «Дружбы народов», закрепил успех. Гуцко осмотрителен: он понимает, что политика меняется, конъюнктура тем более, а слово останется. (В этом смысле уроки советской литературы даром для поколения «условно тридцатилетних» не прошли.)

Если у Бабченко в прозе преимуществен журналистско-корреспондентский стиль, Захар Прилепин экспрессионистичен, у Гуцко побеждает традиционная добротная описательность, то русско-чеченская проза Германа Садулаева (вспоминаю самоопределение Фазиля Искандера: я русский писатель, но певец Абхазии) тяготеет к мифу. Он поставил более чем амбициозную задачу – так как «старые» чеченцы морально, если не физически, уничтожены, а «старая» Чечня фактически перестала существовать, то надо формировать новый чеченский менталитет через новую мифологию.

4

Вообще-то был такой – краткий? да нет, не очень – момент, когда присутствие «злости дня» в литературе подверглось нападкам и чуть ли не вето. Стало считаться, что «хорошая» литература со «злостью дня» несовместима. Это была реакция на «перестроечную» эпоху – и порожденную ею прозу, так называемую «чернуху». Литературная перестройка с публицистичностью, прямолинейностью, однозначностью физиологической прозы, той, что освещала страшные, спрятанные от глаза темные углы нашей действительности, сменилась другим литературным временем, когда плохим тоном считалась

эта проклятая «злободневность», от которой – надо бы очистить, а также предостеречь на будущее нашу словесность. Редакторы и критики неловко прятали глаза – в ответ на обвинения в «конъюнктуре» (а обвиняли, разумеется, снискавших тиражи и внимание читателя). Стало модным уходить от мира сего, быть возвышенным, быть философом, быть эстетом. «А стоит ли в черной печи обжигать, прекрасную глину в печи обжигать, прекрасную красную глину?» (М. Амелин). А «злоба дня» пусть прописывается в жанровой литературе. Там ее место.

Она и прописалась.

Отсюда – не только ироническая проза Виктора Шендеровича, «правдорубские» стихи Игоря Иртеньева. Отсюда – и маскультовая злободневность: например, детективов А. Марининой: персонажи, ситуации, детали изображенной в них повседневности более чем современны.

«Наследником» чернушной линии стал Роман Сенчин – и он не отступает от избранной им манеры постоянно угрюмого повествования о неприятных, если не тошнотворных, вещах. Тесно связан со «злостью дня» роман «Лед под ногами». Сюжетом романа и стала малоприятная повседневность малоприятного молодого человека в малоприятных обстоятельствах фальсификации выборов и фальсификации «общественной» жизни вообще. Если бы название «Тошнота» не было закреплено за знаменитым романом Сартра, то оно точно бы прилегло к данной вещи.

Что делает массовая литература, повязанная с актуальностью жанровыми узами? Она делает ей, то есть «злобе дня», *красиво*. Она украшает «злобу дня» стразами, бижутерией, гримирует участников косметикой – в общем, работает гляncем. Эту самую жабу актуальности венчает с искусственной розой гламура. И читателю приятно – он не на помойке находится, хотя и вроде бы читает об «ужасном».

У Сенчина все наоборот: искусственные цветы он топчет, умело наложенный грим уничтожает. Политика? *Технология* политики, да такая, от которой помогает известное лекарство «два пальца в рот». Сенчин пишет отвратительное – отвратительным, намеренно вызывая у читателя чувство отвращения и

брезгливости. Такая «злоба дня» не может не вести к «запасному выходу» – подальше от проклятой актуальности.

Если литература хотела бы забыть о политике, то сама «злоба дня» сделать это ей не позволяет. Хотя сегодня это выражается не в прямом высказывании, а в опосредованном – или «догоняющем», как в романе Вл. Маканина «Асан». Поскольку танки были и остаются главным политическим аргументом и политической силой нашего отечества (1939-й в Прибалтике, 1956-й в Венгрии, 1968-й в Чехословакии, 1979-й в Афганистане, 1995-й в Чечне, 2008-й в Грузии), то «злоба дня» актуализируется сама собой. Получается, что наша, увы, реальность «освежает» восприятие маканинского романа, действие которого отнесено в недавнее, но все же – прошлое. (Прошлое, которое не проходит, добавлю в мака-нинской стилевой манере.)

5

Политический голос автора – «прямая речь», как ее обозначили критики после «эзопова языка», – изменил стилистику конца 1980-х; наступила ли сейчас эпоха *нового* иносказания – или это время ухода в эстетизм (оставим поля для риторики как заведомо *пошлого* политического пространства только ангажированным голосам)?

Публикации последнего времени показывают, что зреет новая стилистическая тенденция. Не то чтобы эзопов язык – и вроде бы не совсем «прямая речь». Скорее здесь подойдет полузабытый термин – «аллегория».

Вл. Сорокин избегает в интервью определения *политического романа*, тем не менее слово «политический» приложимо к его последним сочинениям. Опрокинув современные тенденции политической жизни России в феодальные времена («типа», как говорят ныне, Ивана Грозного), автор жирно подчеркивает свой политический месседж предпоследней фразой «Дня опричника»: «А покуда жива опричина, жива и Россия». Опричник, по Сорокину, есть всякий «другой». Контролирующий. Будь то свиномордый охранник, коих миллионы по стране, будь то проверяющие спецслужбы, «выдающие»

справки чиновники и т. д., и т. п. Сарказм, гротеск, абсурд – все это вмешано в аллегорический текст Сорокина. И последующая книга, повествование в рассказах, обозначенное как роман, «Сахарный Кремль», развивает линию повседневного поведения сосуществующего с опричниной в гармонии «обыкновенного человека». Всем довольного, более того – счастливого. Счастливого и в своем феодально-крепостническом, идеологизированном, нищем детстве. И в одномерной, не задумывающейся ни о чем критически зрелости. И в не подвергающей бездарно прожитую жизнь сомнениям старости. Такая вот *мысль семейная*.

Авторская аллегория выделена курсивом. Нажим – плакатный; вполне уместно здесь было бы лубочное оформление, с затейливо стилизованными «народными картинками». Но это вовсе не «эзопов язык» – параллели слишком прямые, аллюзии слишком недвусмысленны, стилизаторство намеренно аляповато, в нос «шибает». Вряд ли Сорокин позволяет себе грубую небрежность. Или все-таки здесь примитивизм – прием? И автор специально педалирует одномерность и примитивность «картинки», и картонность своих персонажей? Посмеивается, моделируя «будущее в прошлом»: тут и китайский язык в России как обязательный, государственный; *и умная машина с клавиой*, по которой одиннадцатилетняя Марфуша печатает вслепую; очереди, коммунальная теснота, *живые картинки* на стенах, экономия газа печным отоплением – благодаря мудрому новому указу государеву. *Интерда – Интернет*. Государственная программа *Великая Русская Стена*, стена, которую дружно строит народ в полной гармонии с государством. И наконец, заглавная аллегория – *сахарный Кремль*, рождественский подарок, – детям из сахара, а кому и расчудесный кокаин.

В обе книги Вл. Сорокиным заложено аллегорическое начало: в период «Возрождения Святой Руси» (державность, «Россия встает с колен» и т. д.) возрождается не страна, а политическая риторика, представляющая собой уродливо эклектическую смесь гламурного с советским. «.. Как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри – так и полезли супротивные из всех щелей, аки

сколопендрие зловерное. Истинно – великая идея порождает и великое сопротивление».

Вот это «сколопендрие зловерное», то есть те, кто подвергает рефлексии, ставит под сомнение политические решения (а теперь уже и военные действия) нынешней России, с претензией на иронию изображены в известинском «эссе» (14.08.08) писателя совсем иного языка и другого поколения, Анатолия Макарова. Он сравнил вторжение России в Грузию с отпором гитлеровским войскам; впрочем, в тяжелые дни военного конфликта это сравнение стало расхожим пропагандистским штампом, а не писательской находкой. Что же касается оценки анонимных, прямо не названных, но поименованных скопом «либералами», то здесь в ход была пущена *убийственная*, как, видимо, представляется автору, ирония в духе и стиле газетной риторики поздних 1970-х. Именно в ту эпоху Елена Георгиевна Боннер могла прочесть о себе грубый пассаж вроде – «Я не знаю, послала ли госпожа Боннер (именно так, с намеренной ошибкой в написании фамилии: искажение фамилий в советских газетных фиоритурах представлялось верхом издевательского шика. – *Н. И.*) из американского далека...» (ох это «далеко» – привет из того же времени!). Тоже ведь знаки нашего времени – бывший шестидесятник якобы иронизирует по поводу неких *либералов (госпожа Боннер и другие)*, которым ни «Известия», ни совокупно федеральные каналы ТВ словечка сказать не дали. Газетный текст Макарова с нестареющими, как оказалось, политическими штампами, легко возрождаемой советской риторикой можно читать как дополнительно иллюстративный по отношению к сорокинскому: «Некоторые экзерсисы и комментарии оживляют мое бедное воображение», «полагаю, что никакая оппозиционность и неприязнь к власти, никакая высокая принципиальность не должна перечеркивать историческую судьбу России». Лексика высокопарная, вроде бы далекая от политического стилька газеты «Завтра» (и пристегнутого к ней «Дня литературы»), но приближается к нему. «Россия с нынешней либеральной точки зрения виновата всегда», – нападает на либералов Ан. Макаров. Товарищ не понимает, что он последним занял очередь духовных приватизаторов темы о «России», что отсюда его метлой

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru